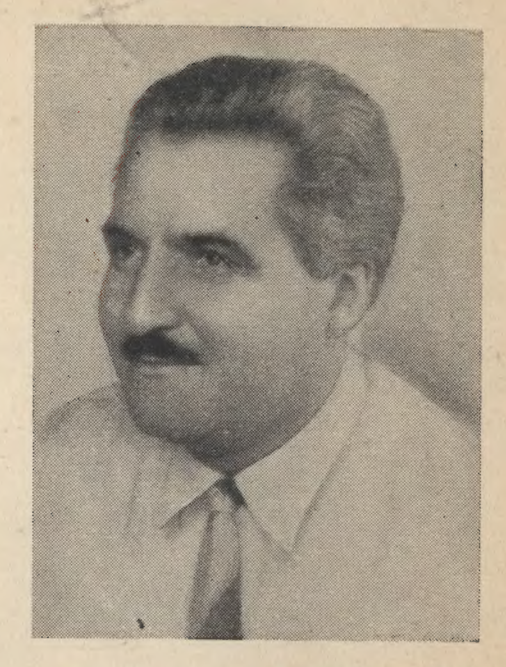
БИБЛИОТЕКА



№ 8 1955



Константин СИМОНОВ

НОВЫЕ СТИХИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 3

Константин СИМОНОВ

НОВЫЕ СТИХИ

Издательство «ПРАВДА»
Москва. 1955

Константин СИМОНОВ

К. М. Симонов родился в Ленинграде в 1915 году. Окончив в 1930 году семь классов, до 1935 года учился в ФЗУ и работал токарем по металлу сначала в Саратове, потом в Москве. С 1934 по 1938 год учился в Литературном институте имени А. М. Горького.

В 1938 году вышла первая книга стихов К. М. Симонова — «Настоящие люди», а в 1940 году — первая книга его военных стихов — «Стихи 1939 года», посвященных событиям на Халхин-Голе, где он работал в армейской газете «Героическая красноармейская».

В июне 1941 года К. М. Симонов был призван в армию и на протяжении всей Великой Отечественной войны состоял военным корреспондентом газеты «Красная Звезда». В начале войны вступил в партию. Награжден орденом Красного Знамени и двумя орденами Отечественной войны 1-й степени.

Пьесы К. М. Симонова «Парень из нашего города», «Русские люди», «Русский вопрос», «Чужая тень», повесть «Дни и ночи» и книга стихов «Друзья и враги» удостоены Сталинских премий.

В ГОСТЯХ У ШОУ

Мы хозяина, кажется, утомили...
Пора уезжать: бьют часы на камине.
Надо встать, и проститься,
и долгие мили
вновь считать на английской зеленой равнине.
Нас сначала сюда
и пускать не хотели,
мы уже тут встречались с подобными штуками:
«Мистер Шоу не сможет»,
«Мистер Шоу в постели»,—
так гласил их отказ,
на машинке отстуканный.
Но потом
вдруг по почте—
письмо от руки
с приглашеньем,
со схемой,
как ехать получше нам,
с тем особым педантством,
с каким в этих случаях
пишут великие старики,
зная цену себе, но, от многих в отличие,
не меняя привычек с приходом величия.
И вот мы доехали—
за три часа—
от дымного Лондона
до этого домика,
где на полках, как мертвых друзей голоса,
собрались порыжелые старые томики,
где усопший давно
девятнадцатый век
еще бродит по тихим коврам в кабинете
и стоит у камина
седой человек —

самый старый писатель
на целой планете.
Он и сам
на столетье чем-то похожий.
И конца ему нет:
такой он высокий.
Голубые глаза
и веселые щеки,
сто лукавых морщинок на старческой коже.
Шевеля над улыбкой усами добрыми,
отбросив привычной иронии стрелы,
он смотрит на нас
глазами, которыми
На родину нашу
когда-то смотрел он;
они все мягче,
добрее,
шире,
как будто теплом ее дальним лучатся.
Наверное, здесь,
в им осмеянном мире,
такими
глаза его
видят не часто!
Он вспоминает,
как ехал в Союз,
репортеров
ответом
огрев, как плетью:
что
только там
он отметит свою
дату
семидесятипятилетья!
И как,
если он
доживет до ста лет!
(он смягчает улыбкою эту дату),
он снова в страну нашу
купит билет,
как в юности,
в семьдесят пять, когда-то.

И снова уедет,
хлопнувши дверью,
в наш
не напичканный шутками горькими,
в наш новый мир,
в который он верит,
чем дальше,
тем с меньшими оговорками.
Он говорит о Стране Советов
с такой
на него не похожей
нежностью...
Он совсем не насмешлив сегодня,
этот
старик,
знаменитый своей насмешливостью.
В этот дом,
где гости
давно не бывали,
мы пришли не писателями,
не поэтами,
наших книг не читал он,
и знал нас едва ли,
и позвал нас к себе
совсем не поэтому;
он нас звал,
чтоб глаза
перед смертью увидели
в этом мире злодейств,
чистогана
и прибылей
двух
другой половины земли
представителей,
двух советских людей,
кто б они ни были.
И поэтому,
пусть нам будет простительно,
старик
провожать нас
идет к воротам,
словно целый народ
был его посетителем,

и он
прощается с этим народом.
Как ни просим, ни молим его мы, двое,
напрасны наши все уговоры.
Под дождем,
с непокрытою головою,
упрямой походкой
идет через двор он,
бурча, что это ирландский обычай,
что погоды здесь
бывают и хуже,
и сердито носами ботинок тыча
во все попадающиеся лужи.
У самых ворот,
пресекая споры,
нагибается,
нас отстранив руками,
вынимает из гнезд
два толстых запора
и ногою сдвигает
приваленный камень.
Нам вовсе не до того,
чтоб гордиться.
Мы знаем одно лишь чувство простое:
мы спешим уехать,
чтоб простудиться
он не успел,
под дождем тут стоя.
Но он,
как будто его не трогает
ни этот дождь,
ни мартовский ветер,
выходит за нами вслед на дорогу,
словно остался
один на свете,
словно о чем-то
еще жалея,
словно что-то
договорить осталось...
Никогда не забуду этой аллеи,
длинной, как жизнь,
одинокой, как старость.
Не забуду, как, выехав к повороту,

мы увидели
с нежностью
и печалью,
как все еще
стоит у ворот он,
высоко
руку
подняв на прощанье.



В БОННСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

К. А. Федину

Бывает,
случится не самое
главное,
что даже не стоит
события
имени.
А все же
среди полетов и плаваний
нет-нет,
да и вспомнишь
об этом именно.
Погодка была...
ни себе, ни вам
не пожелаю такого веселья.
Сказал
Амстердам:
—Посадки не дам!
И в Брюсселе
тоже не сели.
Самолет
мотало
и вкривь
и вкось,
дождем
попадало
и в бровь
и в глаз,
как будто мы мелкая рыбья кость,

что небу в глотку
назло впилась.
Ему — лишь бы выплюнуть,
все равно,
с визами мы
или без виз!
Только б найти в облаках окно,
через которое сбросить вниз!
И наконец,
словно «вира-майна»
кто-то скомандовал за облаками,
мы валимся ночью во Франкфурт-на-Майне,
туман до земли продирая боками.
Нам, собственно, надо бы
прямо до Лондона,
но мы среди прочей укачанной публики,
поскольку погода
нам богом
недодана,
нисходим на землю Боннской республики.
Пол...
Четыре ноги.
Сапоги.
Над сапогами—два тела поджарые,
над телами — усы,
над усами — носы,
над носами —
две каски,
почти пожарные.
Смотрит нам шуцман в лица зеленые,
смотрит второй
в наши книжицы красные,
стоят, как два слона удивленные,
хоботом пробуя
что-то опасное...
И вдруг,
под их недремлющим глазом,
в их гробоподобной —
с решетками —
комнате
мы с Фединым
фыркаем оба разом:

— Как там,
у Маяковского,
помните?
Еще только строим Магнитогорски,
и, первою сотнею тракторов
гордые,
еще собираем «газики»
горьковские
покуда что
из деталей Форда.
Еще ни метро нет,
ни Волго-Дона,
и китайцам
двадцать лет еще драться,
и до Берлина
свои знамена
не пронесли еще
сталинградцы.
А Маяковский
насмешек лавину
буржуям на головы рушит бесстрашно!
Хоть нет за спиной его
и половины
всего,
что сегодня
стоит за нашими.
И хоть с визами дело
пахнет кутузкой,
и шуцманы, видно,
на это надеются,
но мы смеемся,
мы, двое русских,
двух паспортов советских владельцы!
И, поразившись
такому нахальству,
для коего
не предусмотрен параграф,
шуцман первый
идет по начальству,
а шуцман второй,—
видать, не из храбрых! —
он, подальше от нас
затесавшись в угол,

на стол дубинку кладет для ясности,
пока их начальства
звонят друг другу:
— Что делать
на ночь
с красной опасностью?
В итоге тот, первый,
приходит снова,
и с порога, трубя,
как труба иерихонская,
разрешает нам ехать в отель,
взяв слово
не взрывать
и не портить
республику Боннскую!
Поскольку мы, собственно, и не хотели
заниматься подобными
злодеяниями,
мы даем это слово,
берем в отеле
номер в две пышных
немецких постели
и долго хохочем под одеялами.
И только тут,
на исходе дня,
когда кончены все
по мукам хождения,
я вдруг вспоминаю,
что у меня,
как ни странно,
сегодня
день рождения!
И поскольку уж это вспомнено мной,
то, открыв чемодан Федина,
мы с ним пьем по одной
и еще по одной;
— За тех, кто в пути,—
как дома заведено.
За дождя пеленою
немецкие шпили торчат,
над душой за стеною
американцы мычат:
— Что стесняться в своем Франкфуртском уезде?

За дверьми
кто-то шепчется: «deine... meine»...[1]
Чего не случается!
Ездить так ездить!
Франкфурт-на-Майне
так Франкфурт-на-Майне!
. . . .
Наши крылья
уже над Ламаншем висят.
Утро.
Можно поставить точку.
Пусть над этим стихом
улыбнется дочка,
когда ей будет двадцать,
а мне —
пятьдесят.
Когда
в этот вот самый
Франкфурт-на-Майне,
что сейчас нам, казалось,
глаза бы повыколол,
пригласят
студентки единой Германии
подружек-москвичек
к себе на каникулы.



НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В ТОКИО

Новогодняя ночь,
новогодняя ночь!
Новогодняя — первая после войны.
Как бы дома хотел я ее провести,
чтобы — я,
чтобы — ты,
чтоб — друзья...
Но нельзя!
И ничем не помочь,
и ничьей тут вины:

[1] По-немецки: «твоя... моя...»

просто за семь тыщ верст
и еще три версты
этой ночью мне вышло на пост заступать,
есть, и пить,
и исправно бокал поднимать,
и вставать,
и садиться,
и снова вставать
на далекой, как Марс, неуютной земле.
«Мистер Симонов» — карточка там, на столе,
чтоб средь мистеров прочих
нашел свой прибор,
чтобы с кем посадили,
с тем и вел разговор.
И сидит он — твой снова уехавший муж,—
и встает он — твой писем не пишущий друг —
за столом, среди чуждых ему тел и душ;
оглядев эти пьющие души вокруг,
и со скрипом, на трудном, чужом языке
краткий спич произносит с бокалом в руке.
Пьют соседи, тот спич разобрав приблизительно.
А за окнами дождик японский, пронзительный,
а за окнами Токио в щебне и камне...
Как твоя бы сейчас пригодилась рука мне —
просто тихо пожать,
просто знать, что вдвоем,—
мол, не то пережили,
и это переживем...
А вообще говоря, ничего не случилось;
просто думали, вместе, и не получилось!
Я сижу за столом,
не за тем, где мне были бы рады,
а за этим,
где мне
никого, ровным счетом, не надо:
ни вот этого рыжего, как огонь,
истукана,
что напротив, как конь,
пьет стакан за стаканом,
ни соседа, майора, жующего
с хрустом креветки,
ни того вон непьющего —
парня из ихней разведки,

ни второго соседа:
он, кажется, тоже оттуда,
и следит всю беседу,
чтоб моя не пустела посуда;
даже этого, ласкового,
с нашивкой «Морская пехота»,
что все время вытаскивает
разные детские фото,
и его мне не надо,
хоть, кажется, он без затей,
и, по первому взгляду,
действительно любит детей.
До того мне тут пусто,
до того — никого,
что в Москве тебе чувства
не понять моего!
А в остальном с моею персоной
тут никаких не стрясется страстей.
Новый год. В клубе местного гарнизона
пьют здоровье русских гостей;
у нас в порядке и «пассы» и визы,
и Берлин еще слишком недавно взят,
и полковник,
прикрыв улыбкою вызов,
как солдат,
пьет за нас —
за бывших солдат!
Это завтра они нам палки в колеса
будут совать изо всех обочин!
Это завтра они устроят допросы
говорившим со мной японским рабочим.
Это завтра они, чтоб не ехал на шахту,
не продадут мне билета на поезд.
Это завтра шпиков трехсменную вахту
к нам приставят,
«за нашу жизнь беспокоясь»!
Насуют провожатых, как в горло кости,
чтоб ни с кем не встречались, дадут нам бой!
Все это завтра!
А пока мы гости:
— Хелс ту ю!
— Рашен солджерс!
— Рашен фрэндс!

— Рашен бойс! [1]

. . . .

Новогодняя ночь,
новогодняя ночь!
Не была ль ты проверкою после войны,
как мы в силах по дому тоску превозмочь
и как правилам боя остались верны
на пороге «холодной войны»?
Нам мечталась та ночь
вся в огнях,
в чудесах,
вся одетая в русской зимы красоту,
а досталось ту ночь
простоять на часах
под чужими дождями,
на дальнем посту!
Ни чудес, ни огней,
ничего, —
разводящим видней,
где поставить кого.



ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ЯНЦЗЫ

Мы плывем на лодке через Янцзы —
Голубую реку, —
я, переводчик
и еще три человека.
Мы плывем на тот берег — в Учан
из Ханькоу.
А река!
Какая река!
Я еще не видел такого...
Дождь моросит над Янцзы,
по воде —
маленькие кружки.
До правого берега плыть и плыть,
а левый
еле виден из-под руки.

---

[1] По-английски: «Ваше здоровье!», «Русские солдаты!», «Русские друзья», «Русские парни».

Под мокрыми черными парусами
вниз, к Нанкину, уходят джонки;
жаровня шипит,
кто-то поет,
женщина кормит ребенка;
бочонки с вяленой рыбой,
дрова,
в желтых цыновках рис,
капуста, наваленная до бортов,—
все проплывает вниз.
А навстречу идет пароход с баржами,
зелеными от солдат,
на корме в чехле полковое знамя,
и часовые стоят.
Наверно, в верховья плывут, к Чунцину,
где еще Чан Кай-ши;
спешат, чтоб землю отдать крестьянам.
Счастья желаем им от души!
Большая река,
большая страна,
большой народ,—
можно о многом передумать,
пока лодка реку переплывет.
Я этого вот человека люблю,
сидящего рядом в лодке,—
зеленый ватник,
красная звездочка,
как на наших пилотках.
Он окунает руку в Янцзы
и там забывает ее надолго...
Наверно, и я бы вот так задумался,
плыви мы через Волгу.
Он вполголоса тянет какую-то песню —
широкую, как плес,—
может быть, их «Дубинушку»
или «Есть на Волге утес»?
Потом он вдруг с усталым вниманьем
поворачивается ко мне,
но глаза его далеко отсюда,
где-то там, на войне.
Он вспомнил о ней,
глядя вслед плывущим
к Чунцину солдатам.

А ему вот надо ездить со мной,
быть моим провожатым,
говорить, объяснять, отвечать на вопросы:
— Как то у вас?
Как это у вас? —
и немножко досадно,
и интересно,
и — приказ есть приказ.
Я этого человека люблю
и, мне кажется, понимаю,
хотя не бывал у него дома
и его языка не знаю.
Но мы с ним оба политработники,
привыкли к схожим вещам.
Знаем, что такое субботник,
митинг,
разговор по душам,
знаем, что такое, когда
солдат не пообедал,
знаем, что такое беда
и что такое победа;
приходилось обоим и отступать,
и наступать,
и писать листовки,
и, хоть это не главное в нашей работе,
самим брать в руки винтовки.
Переводчик нам переводит слова,
но это техника дела,
а вообще-то мы понимаем друг друга,
мой товарищ из политотдела.
Понимаем, где черное, где белое,
кто враги, кто друзья.
Плывем по Янцзы, и я понимаю:
это Волга твоя.
Эти рыбаки в синих робах,
наваливающиеся на руль,
этот парус на старой джонке,
дырявый от пуль,
бурлаки в соломенных шляпах,
бредущие с бечевой,
вода за кормой,
чайки над волнами,
солнце над головой,

дымок над жаровней,
далекая песня,
ребенка кормящая женщина,—
все это твоя милая родина,
твоя Полтавщина
или Смоленщина.
Вот и я зачерпнул воды из Янцзы,
она синяя, синяя.
Я все время расспрашиваю,
хочешь — ты расспроси меня.
Я б рассказал, если б ты спросил,
как в двадцать седьмом в Рязани
я чучело Чан Кай-ши носил
за измену его в наказанье,
как в тридцать пятом следил по картам
за вашим Великим походом,
как мы, молодые еще ребята,
рвались вам на помощь в те годы!
Но зато в сорок втором, когда
был в Сталинграде я,
я знаю, как ты за нас волновался
в яньаньских пещерах у радио.
А мы в сорок шестом в Токио,—
вон куда меня занесло!—
отмечали флажками ваш марш на север —
американцам назло.
Бои шли за тысячи верст от Янцзы,
у Шанхайгуаньских ворот,
но нас, как и вас, научили с детства
верить в народ.
Большое дело — вера друг в друга!
На том и стоим:
я — с тобой,
мы — с вами,
мой народ — с твоим.
Вот и берег холмистый правый,
как мы быстро доплыли!
Недаром целую переправу
молча проговорили.
Чалку ловит старый крестьянин,
из любезности, просто прохожий.
Не правда ль, все добрые старики
друг на друга чем-то похожи?

Я ваш разговор читаю по жестам:
он глядит на меня, сюда,
и спрашивает тебя: «Советский?»
И ты отвечаешь: «Да».
Он приветливо, медленно собирает
все морщинки лица...
Хорошая у него улыбка!
Как у моего отца.



ХЛЕБ

Америка.
Лето сорок шестого.
Они уже там подсчитали ревниво —
во что нам встанут
все, от Ростова
до Курска,
спаленные солнцем нивы.
И как нам солоно это горе,
и как после засухи
будет тяжко, —
все уж прикинуто
в их конторе
на весело
щелкающих
костяшках.
Уже и программа
готова, пожалуй,
как
и когда
отвалят от берега
пароходы,
везущие
хлеб лежалый
на старых,
кровавых
условиях Шейлока.
Конечно,
мы числимся их гостями —

совсем-то
когти
нельзя из-под платья!
Но почему бы
гостей костями
не похрустеть
под видом объятья?
И вот мне сердце
пальцем проколото,
и, палец там
повернув
побольнее,
один меня спрашивает:
— Как у вас, голодно?
И будет ли
еще голоднее?
И второй, мне жилы
за клеткой клетку,
сладчайшим видом своим
выматывая,
говорит, улыбаясь,
что пятилетку
придется, наверное,
нам
пересматривать.
А третий
голоса ржавым железом
кусок души у меня отпиливая:
— Насколько хлебный паек урезан? —
узнать у меня
прилагает усилия.
Спрашивают
о горе народа,
словно спрашивают,
какая погода.
Умирать буду,—
не забуду
их улыбок
сорок шестого года!
Сорваться нельзя —
за слабость сочтут.
Надо спокойствием
бить их в зубы,—

а в глазах
пепелища войны встают,
спаленные нивы,
землянки
да трубы.
Знаешь,
что дома стряслась беда,
и стоишь
перед этими медными лбами,
твердо веря в одно:
Никогда!
Никогда!
Коммунары не будут рабами!
Сколько б тут ни щелка́ли
они на своих
ростовщических
хлебных
и атомных счетах,
никогда
никаких
ультиматумов их
там, на Родине,
дома,
не примут в расчеты.
Потому что Москва —
это твердость сама!
И по правде сказать,
каб не чувство вот это,
можно было б, товарищи,
спятить с ума,
по Америке ездя
в то трудное лето.

*

Пишу все это
не для ворошенья
тех бед, что все дальше
отходят в века,
я вспомнил то лето,
читая решенья
сентябрьского
Пленума Цека.

Кому
что
на память придет
в такие минуты хорошие...
А мне —
сорок шестой год;
а мне —
улыбки этих господ,
незабвенно счастливые
рожи их.
Как они говорили о нас тогда?
Что не встать.
Не подняться.
О, йес!
О, да!
Как уверены были в этом!
Как веселы!
И сколько же пощечин
за эти года
мы им каждым успехом своим
отвесили!
Мало радости помнить
об этих плантаторах,
но сочту,
что я времени не потерял,
если этот мой стих
подойдет
агитаторам,
как дополнительный материал.



ПИСЬМО ИЗ АРГЕНТИНЫ

А. Малышко.

Пришло письмо из Аргентины
несчастной матери от сына.

Рассказывать ли все сначала,
как в муках мать его рожала,
как колыбель его качала,
как утром в школу провожала...

Иль прямо начинать с той ночи,
что всех ночей была короче:
когда с улыбкою печальной
он заглянул в родные очи
и в бой пошел, как мы с тобою,
в тот, первый, что мы проиграли,
и ранен был на поле боя,
и мы его не подобрали.

(Теперь отыщутся, пожалуй,
такие, что поправить рады:
мол, на войне не так бывало...
Нет, так бывало — лгать не надо!)

Он в плен попал не на коленях,
он сдался не по доброй воле,
а потому, что отступленье
таких, как он, бросало в поле.

В бою не отступив ни шагу,
он, раненный, пропал под Оршей.
И я до самого рейхстага,
что сталось с ним, не слышал больше,
не знал — и до сих пор не знаю, —
в каких он лагерях скитался,
как он лежал, от ран стеная,
как умирал, как жив остался;
какие он хлебал помои,
какие получал побои,
пока почти четыре года
мы до Берлина шли с тобою.

За Эльбой в мае было дело:
нас служба привела и случай
в тот самый лагерь, где сидел он
за проволокою колючей.
Я по дорогам проезжал там
с американским провожатым
и вдруг увидел странный лагерь:
как кровь — на проволоке — флаги;
на вышках, по углам квадрата,

там, где эсэсовцы когда-то,
наверно, день и ночь сидели,
американские солдаты
разгуливали и свистели.

Я настоял на том, что надо
заехать нам туда сейчас же.
И вот — уже мы за оградой,
среди стоящих, и сидящих,
и прямо на полу лежащих,
дошедших до изнеможенья
людей советских, в плен попавших
в том — сорок первом — в окруженьях.

Погоны наши им вначале
узнать своих в нас помешали.
Но вот — вскочили, вот догнали,
спросили, вскрикнули, узнали!

И я, чтоб было всем виднее,
руками вскинутый на бочку,
кричу, от счастья сам бледнея,
что бедам и разлукам — точка!

Я верил, верил в эту точку,
толпой нетерпеливо сжатый!
И щеки вытирал платочком,
американский провожатый.

Я говорил, что без изъятья
всем, кто в плену был долгу верен,
откроет Родина объятья,
жена и мать откроют двери!

Как после долгого мороза,
людей оттаивали лица.
Из глаз их брызнувшие слезы
и в смертный час мне будут сниться!

Счастливей нет и нету горше
тех лиц, еще с печатью ада,

и взгляда — вдруг, среди всех взглядов —
его, пропавшего под Оршей,
его, стоявшего тут, рядом!

— Когда, — глазами ждал ответа, —
домой? Душа его летела.
Я дам присягу, видев это,
что он был наш — душой и телом, —
что, взятый в плен на поле боя,
пройдя фашистские застенки, —
хоть вешайте, хоть ставьте к стенке! —
остался он самим собою.

— Когда домой? — меня устало
он спрашивал со всеми вместе.
А было их там — тыща двести,
и столько ж матерей их ждало.

И — три советских офицера —
мы говорили, веря в это:
— Американцы примут меры,
чтоб всех вернуть в Страну Советов,
что так записано в условьях,
никто не вправе задержать их!

И все кивал, при каждом слове,
американский провожатый...

Пускай теперь меня осудят,
но в этот день, в том сорок пятом,
я был уверен — так и будет! —
не зная, что я лгу ребятам!

Хотя лишь сотня километров
в тот день ему до нас осталась,
и, как листок с попутным ветром,
к нам долететь он мог, казалось,
но мать ждала его напрасно.
Ни в этот майский вечер ясный,
ни через день, ни через годы
он грудью не вдохнул свободы!

Пришло письмо из Аргентины
несчастной матери от сына.

Что было с ним за эти восемь
лет, за часы и дни без счета,
еще с кого-нибудь мы спросим
еще когда-нибудь отчета.

Я все те мытарства едва ли
за все те годы перечислю:
как проверяли его мысли,
как его письма в клочья рвали,
как в карцеры таскали — было,
и как ласкали — тоже было,
и как бесстыдно уверяли,
что Родина о нем забыла.
Как от запросов материнских
его по лагерям скрывали,
как после всех похлебок свинских
вдруг для соблазна жрать давали;
как все профессора измены
и все доценты шпионажа
над ним работали в три смены —
чтобы вытравить закваску нашу!

Когда же он не стал шпионом —
как ни ласкали, как ни гнули, —
они на Родину его нам
и тут, конечно, не вернули!

Он знал и видел слишком много.
Они его, полубольного,
еще, еще в одну дорогу
отправить поспешили снова.
Он по Атлантике угрюмой,
полубезумный и голодный,
плыл три недели в недрах трюма,
вконец от всех надежд свободный.
И, распростившись с пароходом,
готов на все, кроме измены,
как полураб, был тут же продан
за обусловленную цену.

Подписан с ним контракт кабальный
с условьем на пять лет остаться
в чащобах сахарных плантаций,
в стране чужой, в стране печальной.
Чтобы концы упрятать в воду,
чтоб он там богу душу отдал!

Пришло письмо из Аргентины
несчастной матери от сына...

Пока остановлюсь на этом,
хотя вся песня не допета,—
но рано ль, поздно ли, по-моему,
он допоет ее по-своему!



ЛЮБОВЬ

Случается, в стране чужой
среди людей сидишь, как свой,
неважно — ты или другой —
сидишь, до слез им дорогой
за то, что ты — не просто ты —
есть люди лучше и умней,—
за то, что есть в тебе черты
далекой родины твоей!

С тобою люди говорят
так,
   и в глаза твои глядят
так,
   и ответный ловят взгляд
так,—
     будто не с одним сидят
с тобой, и не один до дна
ты всей душою им открыт,
а будто вся твоя страна
в гостях в их комнате сидит.

И если в домике простом
последний грош идет ребром,

чтоб только угостить тебя —
и будь что будет там, потом,—
и если среди ночи двух
своих детей разбудит мать,
чтобы твое пожатье рук
потом не раз им вспоминать,
и если с митинга сквозь строй
фашистской молодой шпаны
ведут тебя, прикрыв собой,
три парня, словно три стены,—
себе не вздумай, не присвой
всей силы этих чувств людских,
знай твердо, что виновник их
не ты,— народ великий твой.

В любви к тебе был виноват
и бородатый тот солдат,
что с пулеметом Зимний брал,
когда в пеленках ты орал,
и тот селькор, что за колхоз
пошел бесстрашно под обрез,
и тот, кто строил Днепрогэс,
когда еще ты в школе рос,
и тот боец в донских степях,
что пал лицом на дымный снег,
и пленный тот, что в лагерях
семь наций поднял на побег.

И если выпадает честь
тебе в чужой стране, вдали,
принять всю разом, всю, что есть,
любовь, что люди берегли,—
быть почтальоном для нее
и то неслыханный почет,—
пусть в сердце малое твое,
как в сумку, вся она втечет.
Ни капли не присвоив сам,—
ты человек, а не страна,—
доставь ее по адресам,
куда отправлена она!

★

ДОМ ДРУЗЕЙ

Дом друзей, куда можно зайти безо всякого,
Где и в горе и в радости ты ночевал,
Где всегда приютят и всегда одинаково,
Под шумок, чем найдут, угостят наповал.
Где тебе самому руку стиснут до хруста,
А подарок твой в угол засунут, как хлам;
Где бывает и густо, бывает и пусто,—
Чего нет — того нет, а что есть — пополам.

Дом друзей, где удач твоих вовсе не ценят
И где счет неудачам твоим не ведут;
Где, пока не изменишься сам, не изменят,
Что бы ни было — бровью не поведут!
Где, пока не расскажешь, допросов не будет,
Но попросишь суда — прям, как штык, будет суд,
Где за дерзость простят, а за трусость засудят
И того, чтобы нос задирал, не снесут!

Дом друзей — в нем свои есть заботы, потери,—
Он в войну и с вдовством и с сиротством знаком,—
Но в нем горю чужому открыты все двери,
А свое, молчаливое, век под замком.
Сколько раз в твоей жизни, при непогоде,
Он тебя пригревал, этот дом, сколько раз
Он бывал на житейском большом переходе
Как энзе — как неприкосновенный запас!

Дом друзей! Чем ему отплатить за щедроты?
Всей любовью своей или памятью всей?
Или проще — чтоб не был в долгу у него ты —
Сделать собственный дом тоже домом друзей?

Я хотел посвятить это стихотворенье
Той семье, что сейчас у меня на устах,
Но, боюсь, там рассердятся за посвященье,
А узнать себя,— верно, узнают и так!



ПАМЯТИ БОРИСА ГОРБАТОВА

Умер друг у меня — вот какая беда...
Как мне быть,— не могу и ума приложить.
Я не думал, не верил, не ждал никогда,
Что без этого друга придется мне жить.
Был в отъезде, когда хоронили его,
В день прощанья у гроба не смог постоять.
А теперь вот приеду — и нет ничего;
Нет его. Нет совсем. Нет. Нигде не видать.
На квартиру пойду к нему — там его нет.
Есть та улица, дом, есть подъезд тот и дверь,
Есть дощечка, где имя его и теперь.
Есть на вешалке палка его и пальто,
Есть налево за дверью его кабинет...
Всё тут есть. Только всё это вовсе не то,
Потому что он был, а теперь его нет!
Раньше как говорили друг другу мы с ним?
Говорили: споем, посидим, позвоним;
Говорили: скажи; говорили: прочти;
Говорили: зайди ко мне завтра к пяти.
А теперь привыкать надо к слову: он был;
Привыкать говорить про него: говорил,
Говорил, приходил, помогал, выручал,
Чтобы я не грустил, долго жить обещал.
Еще в памяти все твои живы черты,
А уже не могу я сказать тебе: ты.
Говорят: раз ты умер — таков уж закон,—
Вместо «ты» про тебя говорить надо: «он»,
Вместо слов, что люблю тебя,— надо: любил;
Вместо слов, что есть друг у меня,— надо: был.
Так ли это? Не знаю. По-моему, нет!
Свет погасшей звезды еще тысячу лет
К нам доходит. А что ей, звезде, до людей?
Ты добрей был ее, и теплей, и светлей,
Да и срок не велик: тыщу лет мне не жить,
На мой век тебя хватит — мне по дружбе светить.

★

СЫН

Был он немолодой, но бравый;
Шел под пули без долгих сборов,
Наводил мосты, переправы —
Ни на шаг от своих саперов,

И погиб под самым Берлином,
На последнем на поле минном,
Не простясь со своей подругой,
Не узнав, что родит ему сына.

И осталась жена в Тамбове.
И осталась в полку саперном
Та, что стала его любовью
В сорок первом, от горя черном;
Та, что думала без загада:
Как там в будущем с ней решится?
Но войну всю прошла с ним рядом,
Не пугаясь жизни лишиться...

Ничего от него не хотела,
Ни о чем для себя не просила,
Но, от пуль закрыв своим телом,
Из огня его выносила,
И выхаживала ночами,
Не беря с него обещаний
Ни жениться, ни разводиться,
Ни писать для нее завещаний.

И не так уж была красива,
Неприметна женскою статью.
Ну, да, видно, не в этом сила,
Он ее и не видел в платьях;
Больше все в сапогах кирзовых,
С санитарной сумкой, в пилотке,
На дорогах войны грозовых,
Где орудья бьют во всю глотку.

В чем ее красоту увидел?
В том ли, как вела себя смело?
Или в том, как людей жалела?
Или в том, как любить умела?

А что очень его любила,
Жизнь ему отдав без возврата,
Это так, что было — то было...
Хотя он не скрыл, что женатый.

Получает жена полковника
Свою пенсию за покойника;
Старший сын работает сам уже,
Даже дочь уже год как замужем...

Но живет еще где-то женщина,
Что звалась фронтовой женой.
Не обещано, не завещано
Ничего только ей одной.

Только ей одной да мальчишке,
Что читает первые книжки,
Что с трудом одет без заплаток
На ее — медсестры — зарплату.

Иногда об отце он слышит —
Что был добрый, храбрый, упрямый,
Но фамилии его не пишет
На тетрадках, купленных мамой.

Он имеет сестру и брата,
Ну, а что ему в том добра-то?
Он подарков у них не просит,
Только маму пусть не поносят.

Даже пусть она виновата
Перед кем-то, в чем-то, когда-то,
Но какой ханжа озабочен —
Надавать ребенку пощечин?

Сплетней душу ему не троньте!
Мальчик вправе спокойно знать,
Что отец его пал на фронте
И два раза ранена мать.

Есть над койкой его на коврике
Снимок одерской переправы,
Где с покойным отцом-полковником
Мама рядом стоит по праву.

Не забывшая, незамужняя,
Никому другому не нужная,
Она молча несет свою муку.
Поцелуй, как встретишь, ей руку!



ДРУГ-ПРИЯТЕЛЬ

Едва ошибся человек,
Как сразу — им в привычку —
Уж поднимают руки вверх
Его друзья — в кавычках.

Один — чтоб первым осудить
На первом же собрании,
Другой — чтоб всех предупредить,
Что он все знал заранее...
Что говорить об этих двух?
Из сердца сделай вычерк!
Но вот сидит твой третий друг,
Как будто без кавычек.

Он и сегодня, как вчера,
Рубашкою поделится,
Проутешает до утра,
Что это все безделица
И скоро перемелется...

С тобой душой не покривит —
Что можно,
                    да и нужно
Тебе за грех твой дать «на вид»,
А больше не положено,
А больше не заслужено!

Но, не потупивши глаза
И медный голос выковав,
Его подаст он все же за
Тот самый, строгий выговор,
Что хоть и не положен
И все тому подобное...

Но раз уже предложен,
То против неудобно!

Потом с собрания к нему
Зайдешь — затащит силой,
Чтоб объясниться,
                    что к чему;
Что не тебе, брат, одному,
А и ему,
        а и ему —
Да, да! — не просто было!

Что он тебя всегда любил,
И все об этом знают,
Случалось, вместе водку пил,
И это тоже знают;
Вдобавок вы с ним земляки,
И нету человека,
Чтобы не знал, как вы близки
С ним чуть не четверть века.

— В твою защиту выступить —
Как напоказ все выставить!
Вдруг раздались бы реплики:
Мол, время зря не тратили,
Мол, уж не слишком крепко ли
Спаялись вы, приятели?

Кому же это
            нужно то?
Ведь было б только хуже — да?
А так —
        ну, что ж, ну, строго,
Ну, перегнули малость,
За выговор, ей богу,
Рука не подымалась!

— А все же поднял?
                    — Поднял.
Так это ведь — сегодня,
Но есть еще райком,
                    горком,

Поговорят,
протрут с песком,
Дадут на вид, пожалуй,
А выговор обжалуй!

И я, как вызовут, скажу,
Что в этом отношении
Я слишком строгим нахожу
Первичное решение.
Дерись, обжалуй!
А пока,
Коль доведется туго,
Вот тебе, брат, моя рука,
А если надо,— угол,
Бывает, брат, и хуже,
Давай садись за ужин,
Беда — бедой,
еда — едой!

И смотришь на него — как он
Все ходит, суетится,
И добрый он,
И славный он,
И чуть собой гордится;
Накормит и напоит,
Спать у себя положит...

А большего не стоит
И спрашивать, быть может?

Но вдруг
совсем простой
вопрос!
— Постой, постой,
что он тут нес?
И почему же, собственно,
Не мог он на собрании
Сказать о мненье собственном
Перед голосованием?

Что вы не просто с ним дружки,
Что вы врагов с ним били,
Что в жизни не одни вершки,—

И труд и бой делили,
Что не слепою верою —
В делах дурной попутчицей,—
Что всею жизни мерою
Он за тебя поручится!

Да, мог бы он сказать и так —
Ничто не помешало бы,—
И к истине в его устах
Прислушались, пожалуй, бы.

Его ты вправе упрекнуть,
Хоть люди есть и хуже...

Все дело в том —
как тут взглянуть!
Пошире?
Иль поуже?
Поуже — что ж, все ничего,
Он парень неплохой,
Не требуй лишнего с него —
Спасибо, что такой.
Пошире взгляд — жесток, увы,—
С ним не были друзьями вы!
Кто в дружбе обыватель,
Тот, просто так... приятель.

Тех двух, с кого я начал речь,
Их просто — от себя отсечь,
Но с этим третьим сложно,—
Заколебаться можно...
Чтоб эти вытравить черты,
Пора в лицо смотреть им —
Случается,
что я и ты
Бываем этим,
третьим...



ЖИЛ ДА БЫЛ ЧЕЛОВЕК ОСТОРОЖНЫЙ...

Жил да был человек осторожный,
осторожный
до невозможности,
с четырех сторон огороженный
своей собственной осторожностью.
В частокол им,
для безопасности,
словно гвозди, фразы
насованы:
«В этом деле пока нет ясности...»
«Это дело не согласовано...»
А кругом
каждой
этой фразы —
битых стекол
мелкие жала:
«Поглядим...»,
«Возможно...»,
«Пожалуй...»,
«Не вполне...»,
«Не время...»,
«Не сразу...»
До того хороша ограда,
будто так для людей и надо!
Будто то,
что всего дороже нам,
этой изгородью
огорожено.
Полно, так ли?
А мне сдается,
мы за изгородь
глянуть можем:
уж не трус ли
за ней пасется?
Сам собою,
как конь, стреножен,—
чтоб случайно
не разбежаться,
чтоб от «да»
и «нет»
воздержаться!

И все страсти его мордасти
не для пользы
советской власти,
не затем,
ничего подобного!
А затем,
чтоб ему удобнее!
У людей
есть причины веские,
слыша,
как он там
сыто ржет,
знать, что это
не власть советскую,
это он
себя бережет!
Осторожность —
дело хорошее,
только надо с ней
осторожнее.
Ради дела ли?
Ради людей она?
Или,
может,
как в данном случае,
эта изгородь
кем-то сделана
ради собственного
благополучия?



УЛЫБКА

Бывает, живет человек
и не улыбается.
И думает, что так ему, человеку,
и полагается.
Что раз есть у него, у человека,
положение,
то положено ему
к положению
и лица выражение.

Не простое —
золотое,
ответственное:
тому, кто я
и что я,
соответственное.
Иногда
уж вот-вот улыбнется — спасует...
И ему ведь трудно
порой удержаться!
Но улыбку
сам с собой
согласует,
проголосует
и решит большинством голосов
воздержаться.
И, откуда-то взявши,
что так вот и надо,
чуть ли не для пользы революции,
живет в кабинете
с каменным взглядом,
с выражением лица,
как резолюция!
Даже людей великих
портреты
заказал
посуровей
для кабинета,
чтобы было всё
без ошибок!
Чтобы были все
без улыбок!
Сидит под ними
шесть дней недели —
глаза бы их
на него не глядели!
И лишь в воскресенье,
на лоно природы,
на отдых выехав, на рыбалку,
на рыбок
с улыбкою
смотрит в воду,—

для них улыбки
ему не жалко.
Никто не заметит
улыбку эту,
не поведет удивленно
бровью,
хоть весь день
без подрыва авторитета
сиди
улыбайся себе на здоровье!
И сидит человек
и улыбается,
как ему,
человеку,
и полагается.
Его за воскресное это
безделье
за улыбки рыбкам
судить не будем...
Эх, кабы
в остальные
шесть дней недели
эту б улыбку
не рыбкам —
людям!



СОДЕРЖАНИЕ

В гостях у Шоу 3
В Боннской республике 7
Новогодняя ночь в Токио 11
Переправа через Янцзы 14
Хлеб 18
Письмо из Аргентины 21
Любовь 26
Дом друзей 28
Памяти Бориса Горбатова 29
Сын 30
Друг-приятель 32
Жил да был человек осторожный... 36
Улыбка 37

Редактор — **Г. ЯРЦЕВ.**

А 00734. Подписано к печати 24/II 1955 г. Тираж 150.000. Изд. № 173.
Заказ 3948. Формат бумаги 70 × 108¹/₃₂. 0,62 бум. л. — 1,71 печ. л.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, ул. «Правды», 24.